

Люди, армии, народы: Толстой и субъект войны

ЭТЬЕН БАЛИБАР

Заслуженный профессор моральной и политической философии, отделение философии, Университет Париж — Нантер; профессор французской словесности и сравнительного литературоведения, отделение французского языка и литературы, Колумбийский университет в Нью-Йорке. Адрес: 522 Philosophy Hall, 1150 Amsterdam Ave., NY 10027-6900 New York, USA. E-mail: eb2333@columbia.edu.

Ключевые слова: война; политическое действие; народ; Лев Толстой; Карл; Клаузевиц; движущие силы истории; субъект; теоретический анархизм; общая воля; бездействие.

Статья посвящена политике войны, как ее мыслит Лев Толстой в романе «Война и мир». Толстой опрокидывает интерпретацию войны Клаузевицем как «продолжения политики», парадоксально обобщая и радикализируя один из его тезисов: положения о «превосходстве защитной стратегии» над наступательной. В концепции Толстого оборонительная стратегия трансформируется в негативную, которая подвергает сомнению понимание власти и начала (архэ) как с точки зрения отношения к командованию, так и с точки зрения воздействия отдельной воли на ход истории. Через размышление о значении партизанской войны как привилегированной формы войны народной это приводит к негативному

переосмыслению идеи сочленения «народа» и «армии».

В конечном счете, выступая основополагающей исторической силой, «народ», который проявляет себя в войне за освобождение или борьбе за общее благо, лишается своих метафизических характеристик субъекта. Однако его общинная сущность и правда о политике по ту сторону политики или же на ее крайних пределах, когда исчезают институциональные связи, символически всплывает в провиденциальной встрече Пьера Безухова и Платона Каратаева. Но этот хрупкий опыт оформляет и символизирует тот витальный элемент, который учреждает общность народа по ту сторону частных интересов и институций.

В НАСТОЯЩЕМ изложении воспроизведены некоторые части курса, прочитанного в Университете Калифорнии в январе и марте 2006 года под названием *Politics as War, War as Politics*¹. На этом курсе я задался целью поставить под вопрос расхожее утверждение, будто «новые войны», которые разразились в различных регионах после окончания холодной войны, когда мир перестал делиться на «блоки», бывшие наследием Второй мировой войны, являются по своей сущности «не-клаузевицевыми», что связывается с несколькими фактами. Во-первых, сегодня участники этих войн — не обязательно территориальные национальные государства, применяющие регулярные армии. Во-вторых, для участников военных действий характерна существенная асимметрия. И наконец, в-третьих, такие войны не позволяют четко разграничить «состояние войны» и «состояние мира», будь то с юридической или политической точки зрения. Причем все перечисленные признаки более или менее тесно связаны между собой². Такое утверждение предполагает, что у Клаузевица можно обнаружить аналитическое понятие войны или, скажем, идеальный тип войны в веберовском смысле, то есть такое понятие, соотносимое с определенными историческими условиями и в то же время формализуемое (или даже аксиоматизируемое), с помо-

Перевод с французского *Никиты Архипова* по изданию: © *Balibar É.* Les hommes, les armées, les peuples: Tolstoï et le sujet de la guerre // *Idem.* Citoyen sujet et autres essais d'anthropologie philosophique. P.: PUF, 2011. P. 295–314. Публикуется с любезного разрешения издателя.

1. Текст уже публиковался ранее: *Balibar É.* Sur Guerre et Paix de Tolstoï. Un essai de “philosophie littéraire” // *War and Peace: The Role of Science and Art* / S. Nour, O. Remaud (eds). B.: Duncker & Humblot, 2010. Сборник основан на материалах коллоквиума, организованного фондом Гумбольдта в Париже 19–21 ноября 2007 года. Автор благодарит Сорайю Нур и Оливье Ремо за приглашение принять в нем участие. В данной версии текста сделан ряд сокращений, однако они никак не сказываются на общей линии рассуждения.
2. См. вышедшие за последнее десятилетие работы Мартина ван Кревельда, Сэмюэла Хантингтона, Мэри Калдор, Герфрида Мюнклера, Алена Жокса и т. д.

щью которого проводятся сравнения и различия, а также выдвигаются гипотезы.

В связи с этим можно поставить первый эпистемологический вопрос: существует ли это понятие или идеальный тип как таковой у самого Клаузевица, и если да, то в какой форме? Или же речь идет о результате вторичных интерпретаций, в которых его произведение «О войне» (как известно, незаконченное, а местами, возможно, и противоречивое) рассматривается и используется в горизонте вопросов более поздней эпохи и навязанных ею логико-политических требований? И не нужно ли в таком случае оценить разрыв между двумя этими возможностями?³ Но наш первый вопрос, как это хорошо показал Раймон Арон в своих пространственных замечаниях о Толстом, включенных в его книгу о Клаузевице, подводит ко второму, не столько эпистемологическому, сколько генеалогическому вопросу, который мы назовем, присвоив заголовок знаменитой работы Клода Лефора о Макиавелли⁴, вопросом о «труде произведения Клаузевица» (*le travail de l'oeuvre Clausewitz*), который относится к становлению формулировок Клаузевица, а также понятий и тезисов, выведенных из них в длинной цепочке найденных им применений, трансформаций и переворачиваний, которые начались сразу же после посмертной публикации произведений Клаузевица и продолжают до сих пор. Эта цепочка трансформаций неизбежно превращает наши теоретические разработки политического и войны в *постклаузевицкие* концепции, даже если они вступают в противоречие с формулировками Клаузевица или же ставят под вопрос их предпосылки.

Важным в этой генеалогии представляется роман Льва Толстого «Война и мир», который впервые был издан в пяти частях в 1865–1869 годах и получил единодушное признание как один из шедевров мировой литературы. Это важно даже не в силу того, что Толстой при подготовке романа мог использовать некоторые идеи Клаузевица⁵, но и потому, что в романе слышно эхо одного

3. В частности, эта дискуссия ведется в произведениях Раймона Арона, Герфрида Мюнклера и Эмманюэля Терре (*Terray E. Clausewitz*. P.: Fayard, 1999).

4. См.: *Lefort C. Le Travail de l'oeuvre Machiavel*. P.: Gallimard, 1972. — *Прим. пер.*

5. Это относится не столько к «О войне», сколько к предшествующему произведению, которое также было опубликовано посмертно и посвящено войне между Наполеоном и Российской империей, в которой сам Клаузевиц участвовал на стороне русских (военная кампания 1812 года).

из его знаменитых тезисов: положения о «стратегическом превосходстве обороны над наступлением». Новая трактовка, которую дает ему Толстой, в каком-то смысле обращается к изначальному «истоку» разработки этого тезиса с целью выведения из него новых философских следствий⁶.

Роман и антироман

Прежде чем начать читать или перечитывать произведение Толстого, следует вспомнить несколько биографических и хронологических деталей. Прежде всего, Толстой, будучи представителем высшей русской знати и, следовательно, обязанным так или иначе служить Российской империи, долгое время был профессиональным военным. Его военный опыт начинается с колониальных войн на Кавказе (1851–1852)⁷ и заканчивается Крымской войной (1855), когда он возвращается на службу, а потом пишет знаменитые «Севастопольские рассказы», посвященные осаде города. Этот суровый опыт влечет постепенное изменение установки, определяющей его взгляды на войну. Но эта установка сама по себе была сверхдетерминирована тем, как для Толстого ставился вопрос о патриотизме и «исторической миссии России» в связи с ситуацией, сложившейся в Европе в 1850–1860 годах. Роман «Война и мир» задумывался и был опубликован в момент, когда новый «Наполеон» воспроизвел государственный переворот 18 брюмера и пришел к власти во Франции, тогда как Российская империя служила гарантом европейского порядка. Этот статус был получен ею после Венского конгресса 1815 года, в правление Александра II и Николая I. Крымская война завершилась разгромом русских войск франко-английским альянсом в сражениях, которые ошеломили современников числом жертв и масштабами ущерба, обусловленными технической революцией в области вооружений. Таким представлялся фон теоретиче-

6. В странной манере, напоминающей разоблачение, один из авторов, который посвятил философии войны подробное исследование, уделяет Клаузевицу длинную главу своей книги, тогда как одну из других глав — Толстому, однако он полностью игнорирует отношение между двумя этими авторами (за исключением отрывка из «Войны и мира», в котором Толстой аллегорически вставляет фигуру Клаузевица в качестве эпизодического персонажа). См.: *Gallie W. B. Philosophers of War. Kant, Clausewitz, Marx, Engels, and Tolstoy. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.*

7. В «Записках о Кавказе» (1853) Толстой рассказывает о походе иррегулярных войск в чеченское селение, в ходе которого он едва не погиб.

ских дискуссий о «движущих силах» истории, об отношении войны к политике наций и противостоянии империй. Тем не менее Толстой, в то время ни в коей мере не являвшийся *пацифистом* или защитником *ненасилия* в том виде, в каком он стал отстаивать его к концу жизни (ненасилие подразумевало отсутствие сопротивления со стороны того или иного народа вторжению или же внешней агрессии), выступал решительно против русской политики, направленной на расширение территориальных границ, и против русского гегемонизма в Европе. В защиту этой позиции он выдвинет политический и философский тезис о «патриотической войне» 1812 года: с точки зрения Толстого, она прекратилась в 1813 году, когда благодаря победе Кутузова русская земля была окончательно освобождена, или, скорее, она претерпела изменения в своей природе, когда под новым командованием русская армия и ее союзники погнало Наполеона до самого Парижа, а потом сменили режим Французской империи, что соответствовало движению приливов и отливов исторических «масс» — это понятие Толстой будет развивать в «Войне и мире». Между его взглядами на современную историю и философским уроком, вынесенным из реконструкции великой войны, в которой русская нация сумела спастись от уничтожения, связь, однако, не проста: роман не столько иллюстрирует предпосланные ему тезисы, сколько ставит — в том виде, в каком она возникает в современную эпоху, — проблему отношения между войной, бытием народов и смыслом истории. Поэтому невозможно ставить особняком эти одинаково сложные вопросы, которые рождаются, с одной стороны, в связи с идеологией (или же философией) Толстого, а с другой — в связи со способом письма, использованным в романе «Война и мир» и определяющим его прочтение. Вопросы первого типа отсылают к неоднородному комплексу, сложенному из популизма и патриотизма (не близкого, однако, славянофильству, хотя и основанного на гипотезе качественного различия между Востоком и Западом европейского континента), анархизма и исторического фатализма, предшествующего изобретению Толстым «нового христианства» и обращению к профетизму ненасилия, утверждающему, что закон любви должен восторжествовать над законом войны⁸. К вопросам второго типа

8. Один из привлекательных моментов исследования Галли связан с попыткой соотнести феноменологию войны, предложенную в «Войне и мире», с учением позднего Толстого (в частности, в том виде, в каком оно изложено в работах «Царство Божие внутри вас» (1891) и «Хри-

относится каверзный вопрос о том, «кто говорит» в тексте «романа». Как интерпретировать сочетание очевидно классического романного повествования, в котором персонажи, представленные в более или менее благожелательном свете, высказывают те или иные мнения, выступая живыми воплощениями определенных взглядов на жизнь и политику, и теоретической рефлексии, изложенной в безличной манере и на этом основании приписываемой «автору», который, как считается, излагает свою философию? Следует ли утверждать, что два этих элемента взаимно дополняют друг друга — как абстрактный тезис и его нарративное «воплощение»? Или здесь следует искать более сложное и неопределенное отношение, родственное тому, что Бахтин назовет «диалогизмом», а потому письмо окажется не простым переписыванием теории, но опытом поиска теории и постановки ее под вопрос?

Конечно же, этот вопрос ставится не только применительно к творчеству Толстого: он касается всей современной большой романной формы, поскольку она восходит к тому, что Пьер Машре назвал «литературной философией», в рамках которой «Война и мир» занимает место между «Отверженными» Гюго (роман был написан между 1845 и 1862 годами) и «Человеком без свойств» Музиля (лишь первая книга которого была издана самим автором: сперва в 1930-м, затем в 1933 году), тогда как его соперником оказывается Достоевский и «Братья Карамазовы» (1880)⁹. Но, возможно, именно произведение Толстого, как только оно было опубликовано, стало первым поводом для обсуждения «жанра» в его связи с «мыслью» или же «уроком». Сначала это обсуждение велось в рамках «стилистической» критики, обличающей *разнородность* книги и ее несоответствие устойчивым образцам, созданным романистами в начале столетия, — на эту критику Толстой был вынужден ответить в дополнении к полному изданию, где он отстаивает

стианство и пацифизм» (1894)). С точки зрения автора, основой для этого выступает речь князя Андрея накануне Бородинской битвы, отражающая мышление Толстого. Этой речью он, реагируя на цинизм немецких офицеров, состоящих на службе у царя, предвосхищает ужасы массовой бойни и выражает мнение, что справедлива лишь та война, участники которой заранее выбрали идти на смерть (*Толстой Л.* Война и мир. Т. 3 // Полн. собр. соч. М.: Художественная литература, 1940. Т. 11. С. 210).

9. *Machery P.* À quoi pense la littérature? P.: PUF, 1990; *Idem.* Y a-t-il une philosophie littéraire? // Bulletin de la Société Française de Philosophie. 2004. Vol. 98. № 3.

«русскую» специфику отступления от законов жанра (что мы в равной мере могли бы проинтерпретировать как попытку отстоять «нероман» или же «антироман»; но все же «Война и мир» в некотором смысле является, как утверждал Лукач, *совершенным романом*). Затем указанное обсуждение продлилось реакциями критиков и писателей (например, Вирджинии Вульф)¹⁰, которые сравнивали Толстого как с Гомером (на которого ссылался сам Толстой), так и с Гегелем или Прудоном (откуда происходит само *название* произведения, «позаимствованное» Толстым из работы Прудона «Война и мир. Исследование о принципе и содержании международного права», вышедшей в 1861 году).

Для понимания поставленных в этой книге философских проблем мне кажутся полезными две аналитические схемы. Первая из них — схема, предложенная все тем же Пьером Машре, — обусловлена сопоставлением Толстого и его интерпретации у Ленина в работе Машре «К теории литературного производства» (1965). Взяв у Ленина образ «разбитого зеркала», в котором отражается, раскалываясь на множество противоречивых «осколков», русская революция 1905 года, Машре задается вопросом о литературном эффекте, возникающем в силу включения или встраивания идеологических высказываний в повествование, внутри которого они соотносятся со множеством тем, и характеризует его как критический эффект «остранения» идеологического содержания. Эта интерпретация распространяется на «персонажей» и их проблематичное отношение к идентичности автора. Однако эта интерпретация, по-видимому, не касается того, что, строго говоря, составляет особенность романа Толстого (а в глазах многих читателей — его «слабость»), а именно теории исторических сил в применении к Отечественной войне 1812 года, изложение которой то начинается, то прерывается, достигая кульминации во второй части эпилога, где она занимает место «заключения», — теории, которая не была встроена в само повествование (и в целом презиралась как литературными критиками, которые видят в ней вереницу «нудных размышлений», так и философами, которые расценивают ее как собрание бессвязных мнений о необходимости и свободе воли).

10. *Dalgarno E. A British "War and Peace"? Virginia Woolf Reads Tolstoy // Modern Fiction Studies. 2004. Vol. 50. № 1. P. 129–150.*

Позднее американский критик Гарри Сол Морсон, работающий во многом независимо от этой традиции, вновь обратился к этому вопросу в одном из лучших комментариев к роману «Война и мир»¹¹. Автор опирается на критику Бахтина, который противопоставил Достоевского, виртуоза «диалогического» письма, Толстому, представителю «монологической» формы, и попытался обратить эту критику против ее автора, обнаружив указанный диалогизм, то есть непрерывное взаимодействие множества голосов, в романе Толстого. Приписать объективность или нейтральность какому-либо из этих голосов невозможно, а смысл (или же смысловой эффект) переносится на их постоянный конфликт. Единственным исключением из правила представляется, однако, то, что Морсон называет «абсолютным языком», который Толстой использует в изложении собственной философии и своей интерпретации русской истории. В равной мере его можно назвать языком «без субъекта» или же языком, субъект которого устраняется из литературного текста в силу того, что он в точности совпадает с автором. Но мы можем преодолеть эту мнимую экстерниорность, которая заставляет верить в механическое наложение двух жанров или двух стилей: в действительности речь идет не только о том, что «абсолютный» язык может быть отождествлен с *дополнительным голосом*, который смешивается с голосами вымышленных героев и вступает в диалог с ними (таков «диалог автора с романом» по Морсону), но и о том, что Толстой пытался вести постоянные прения (или, если угодно, «диалог») между «теорией» и «литературой» внутри своего рода *герменевтического круга*, в котором дискурсы причинности, смысла истории или его отсутствия, с одной стороны, и, с другой стороны, повествование о коллективных и индивидуальных «жизнях», ищущих счастья или же просто спасения, действуют друг для друга в качестве оселка. В таком случае надо говорить не о подчинении, а, напротив, о критическом взаимодействии, которое, будучи присущим романному письму, поглощает философский жанр, но тем самым выходит за пределы собственных границ «литературности». Ступив на этот путь, можно было бы, во-первых, понять, как «Война и мир» стала, по мнению ряда современных историков, «предтечей» более поздних версий «тоталь-

11. Morson G. S. Hidden in Plain View. Narrative and Creative Potentials in “War and Peace”. Stanford, CA: Stanford University Press, 1987.

ной истории»¹², и, во-вторых, распознать вопросы, оказавшиеся в промежутке или же в точке расхождения двух типов дискурсов (с одной стороны, вопрос взаимоотношения частной жизни и народной истории или политики, с другой — вопрос взаимопроникновения «войны» и «мира», двух, по видимости, противоположных состояний, дилемма которых существует лишь в «тотальном» опыте, в котором они чередуются, перемежаясь друг с другом).

В этой обобщенной диалогической перспективе, включающей речь или же голос самой «теории», я попытаюсь проанализировать *политику войны*, как ее мыслит Толстой в «Войне и мире», или, точнее, его *имполитику* (*impolitique*) (используя термин Роберто Эспозито). Под имполитикой я понимаю опровержение той интерпретации войны, согласно которой последняя представляет собой «продолжение политики» в смысле Клаузевица, но осуществляться такое опровержение будет парадоксально — через обобщение и радикализацию одного из тезисов Клаузевица, а именно положения о «превосходстве оборонительной стратегии» над наступательной, которое в равной мере, но в совершенно другом ключе используется Мао Цзэ-дунем в его теории «народной войны». В концепции Толстого — Морсон в этой связи говорит о «негативной истории» (или «негативной историографии») — оборонительная стратегия трансформируется (возможно, повторно, если допустить, что примером теоретической модели Клаузевица могло стать «бездействие» Кутузова в военной кампании на территории России) в *негативную стратегию*, которая ставит под вопрос концепции власти (*pouvoir*) или *archè* как в плане отношения к командованию, так и в плане воздействия отдельной воли на ход истории. Это приводит (через размышление о значении партизанской войны как привилегированной формы народной войны) к переосмыслению — все еще на негативный манер — связи «народа» и «армии», важной для клаузевицкого понимания войны как «продолжения политики иными средствами». В конечном счете именно потому, что «народ» выступает основополагающей исторической силой, он, проявляя себя в освободительной войне или борьбе за общее благо, лишается метафизических характеристик субъекта, даже если его общинная

12. Revel J. Une date, un siècle. Communication au colloque “Quelle Europe annonce la bataille d’Austerlitz?” Prague, November 28–29, 2005 // Centre français de recherche en sciences sociales. URL: <http://cefres.cz/pdf/revel.pdf>.

сущность символически оформляется в одном эпизоде, который можно назвать «мистическим», — речь о судьбоносной встрече героя Пьера Безухова и крестьянина Платона Каратаева, оказавшихся в равном положении из-за того, что оба попали в плен и испытали на себе крайнюю жестокость людей и природы¹³. Попробуем последовательно представить эти четыре момента, а также показать их связь.

Негативная история

Морсон долгое время развивал идею негативной истории и соотносил ее с тем, как Толстой использовал свои русско-французские историографические ресурсы. Прежде всего она предполагает работу по деконструкции, которую проводит Толстой на материале реляций о ходе военных действий и типичных военных эпизодов (в особенности это касается так называемых решающих *сражений*, служащих основой для рационального анализа войны по Клаузевицу). Эта идея развивается путем критики самой этой рациональности, которая отсылает к фигуре «дуэли» или противостояния врагов, изображенных в виде симметричных коллективных акторов. Вот почему могут существовать лишь негативные «законы» войны (и, в свою очередь, истории), заключающиеся в опровержении иллюзий, которые сама же она и создает¹⁴.

Говоря о разоблачении «положительной» историографии, за которое берется Толстой, необходимо отметить экстраординарное количество информации, которым он пользуется, что-

13. Именно в этом отношении я отмежевываюсь от кропотливой интерпретации Раймона Арона (который старается дать точное описание позиции Клаузевица в отношении рациональности войны, отделив ее от трактовок Гегеля и Толстого). Арон считает, что критика Толстым роли индивидов («великих людей») в истории в том виде, в каком последняя неминуемо навязывается войной (или же ее «истиной»), стремится «к созданию определенного исторического героя коллективного типа, которым выступает русский народ» (Aron R. *Penser la guerre, Clausewitz, I: L'âge européen*. P.: Gallimard, 1976. P. 386–390).

14. «Законы истории, описываемые Толстым в „Войне и мире“, — негативные законы. Это в первую очередь законы незнания, выраженные на языке абсолютного отрицания. Независимо от меры добросовестности исторического повествователя, его изложение исторических событий неизбежно оказывается ложным. Чем более нарративно его изложение и чем более осмысленным оно кажется, тем вероятнее, что оно ложно...» (Morson G. S. *Op. cit.* P. 130).

бы воссоздать в «тотальной» форме условия русской политики на рубеже веков: от истории франкмасонства до реформизма правительства Сперанского, от нравов двора, города и деревни до деталей партийной борьбы и иностранных союзов. Все эти материалы, служащие взаимосвязи военных эпизодов, стратегии, отдельных моментов и целей политических действий, их материальных и моральных последствий для общества и субъектов, его составляющих, приводят в конечном счете к двойному изобличению иллюзий такого повествования: иллюзий «героической войны», которую якобы ведет нация, рассматриваемая как единый исторический индивид, и иллюзий «рационального ведения войны». Героизм рассеивается при созерцании страданий людей: он свойственен лишь простым, «низким» и «обычным людям». Пока армии заняты нейтрализацией друг друга или взаимным уничтожением на поле брани массовой войны, критическое наблюдение, неизменно субъективное, выявляет несколько «решающих» акторов, влияние которых маловероятно и практически незаметно (типичным примером такого актора является капитан Тушин и его небольшая батарея в Шенграбенском сражении). Что же касается идеи рационального или поддающегося рационализации ведения войны, которой придерживаются генштабы, составляющие планы сражений и полагающие, будто впоследствии смогут контролировать или корректировать их осуществление, тем самым производя синтез понятия и созерцания, то она оказывается мистификацией. То же относится и к идее военного «гения», который оказывается не более чем результатом простой удачи. Толстой, немного балуя себя, изображает на будущем поле битвы (Бородино) немецкого офицера по имени Клаузевиц, чьи прогнозы будут неукоснительно опровергнуты реальным развитием событий. Вот что Толстой пытается показать, составляя на основе сопоставления своих источников такую карту развития сражения, которая противоречит тому, что можно встретить в учебниках истории¹⁵. Эта критика связана с обобщенным «перспективизмом» (который большинство комментаторов — Раймон Арон, Уолтер Галли, Герффрид Мюнклер — считают необоснованным): восприятие событий приписывается исключительно персона-

15. Толстой Л. Указ. соч. Т. 3. Ч. 2. Гл. XIX. Можно сравнить с той картой, которую предложил Энгельс в своей статье про Бородино, написанной им для *New American Cyclopaedia* в 1858 году. В статье отстаивается концепция Барклая де Толли, вопреки русской историографии, прославляющей гениальность Кутузова (Энгельс Ф. Бородино // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1959. Т. 14. С. 256–261).

жам романа, непосредственно участвующим в этих событиях и, несомненно, имеющим о них лишь частичное и противоречивое представление. В приложении к «Войне и миру» Толстой, отвечая критикам, отмечает, что противники никогда не видят «сражение» одинаково, включая представления о том, кто одержал в ней победу (красноречив в этом смысле пример Бородинского сражения, известного во французской историографии как «битва за Москву»). Однако это ложное восприятие или ложное сознание в действительности составляет качество собственно «отношения»: мы можем обобщить его и распространить на саму войну как дважды асимметричное отношение. *На самом деле противники или «акторы» никогда не ведут одну и ту же войну в одно и то же время.* Можно даже предположить, что актеры «несовременны» друг другу. И поэтому если война в действительности составляет некое отношение, то это не дуэль: оборона и наступление в нем не являются зеркальными отражениями друг друга. Идея, связанная с просчитыванием или же предвосхищением действий и противодействий противника с целью противопоставить им стратегию или определенную тактику, лишена смысла. Войну нельзя уподобить игре. Любимая метафора теоретиков — *Kriegsspiel* — в действительности лишь результат рационализации элемента субъективной симметрии, который заключен в страстях, связанных с войной, и в частности — во *враждебности*. Но, несомненно, даже здесь необходимо ввести критическую поправку (переломный эпизод разрушения Смоленска после французского вторжения¹⁶).

Посредством нового обобщения мы переходим от этой критики к постановке под вопрос категорий «сознания» и «воли», а вместе с ними — метафизики свободы и необходимости. Толстой предлагает «слияние» двух указанных элементов согласно схеме «дифференциала» движения истории, которую, как он утверждает в переписке, он позаимствовал у русского философа-шеллингианца Михаила Погодина¹⁷. Нам постоянно встречаются

16. Толстой Л. Указ. соч. Т. 3. Ч. 2. Гл. II.

17. «Для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно-малые элементы, которые руководят массами. Никто не может сказать, насколько дано человеку достигнуть этим путем понимания законов истории; но очевидно, что на этом пути только лежит возможность уловления исторических законов и что на этом пути не положено еще умом человеческим одной миллионной доли тех усилий, которые положены историками на описание деяний различ-

равнозначные этому тезису формулировки и следствия из него, поскольку «творит историю» не «политика», понятая в качестве действия намеренного или *zweckrational*, то есть целерационального в смысле Вебера (большого поклонника клаузевицкого разделения между планом «задач» и планом «целей»: *Ziel, Zweck*). Тем не менее нельзя попросту принять провиденциальное понимание истории, всего лишь манифестацией которого была бы в таком случае политика, то есть понимание, возрожденное «теократом» Жозефом де Местром, одним из вдохновителей Толстого, на материале французских революционных войн¹⁸. Философские сравнения, здесь напрашивающиеся (но служащие одновременно и тому, чтобы отметить дистанцию), — сравнения со Спинозой (если говорить о критике иллюзии свободы воли и ее смещения со свободой), Гегелем (сложно понять, насколько хорошо, прямо или косвенно, Толстой был знаком с его сочинениями благодаря обучению в русских университетах, где преподавалась в том числе и немецкая философия, или же благодаря чтению таких «левых гегельянцев», как Бакунин и Герцен). Особенно интересным представляется сравнение теоретического эпилога «Войны и мира» и заключительного раздела «Философии права» Гегеля: если Гегель вкратце представляет снятие политики в истории, фоном которой выступает бесконечная война, а действующими лицами — государства (или народы, организованные в государства), то Толстой, в свою очередь, пространно рассуждает о растворении политики в натурализованной истории, чей квазизакон представляет собой бесконечный цикл войны и мира, тогда как ее квазиакторы — не столько индивидуализированные народы, сколько простейшие составляющие народной силы, множество активных и, главное, пассивных образов действия, присущих «маленьким людям». Таким образом, неиз-

ных царей, полководцев и министров и на изложение своих соображений по случаю этих деяний» (Толстой Л. Указ. соч. Т. 3. С. 269). Интерпретация «философии истории» Толстого и, в частности, его концепции причинности составляет предмет множества исследований: знаменитому анализу Исаяи Берлина (Берлин И. Еж и лиса // Он же. История свободы. Россия. М.: НЛО, 2001. С. 183–268), который, на мой взгляд, переоценен, я предпочитаю недавнее исследование: *Bencivenga E. The Causes of War and Peace // Philosophy and Literature. 2006. Vol. 30. № 2. P. 484–495.*

18. Попытки Жозефа де Местра (1821) обосновать значение революций посредством провиденциальных схем, идущих еще от св. Августина (*Де Местр Ж. Санкт-Петербургские вечера. СПб.: Алетейя, 1998*), были одним из источников Толстого, но также повлияли на одноименное произведение Прудона, который открыто ссылается на них.

бежно намечается сравнение с постгегельянской теорией классовой борьбы как двигателя истории, развитой Марксом и Энгельсом на основе Гегеля, — теорией, в которой деятельность масс формально замещает деятельность государств и великих людей. Если заплатить эту цену, подчинение понятия политики понятию истории позволяет восстановить понятие рациональности. Но рациональность эта предполагает, что массы не просто деятельны, но еще и организованны или имеют способность к организации (что приводит к практической идее «партии» в общем смысле слова) и что можно приписать им наличие имманентного «интеллекта» в противовес «персонализированному интеллекту», который представлялся Клаузевицу функцией государства в период войны, или же тенденцию к становлению «для-себя», то есть к осознанию смысла своих действий.

Деконструкция *archè*

Философия Толстого в том виде, в каком она разрабатывается в романе, становится «теоретическим анархизмом» в буквальном смысле слова, поскольку критика взаимодополняющих иллюзий роли воли и смысла истории, ключевым испытанием которых оказывается опыт войны (и значение которых у Толстого переворачивается, если сравнивать с его предшественниками, рационалистическими или «идеалистическими» историками и философами), приводит к общей постановке под вопрос привилегий *archè*, рассматриваемого как начальствование и начало (или решение). Этот теоретический анархизм развивается на нескольких уровнях.

С литературной точки зрения самым очевидным и действенным оказывается тот уровень, на котором описываются фигуры военачальников (их обобщенно можно было бы назвать *архонтами*), представленные в романе Александром, Наполеоном, их министрами, советниками и стратегами-генералами. Все они изображены в виде *марионеток* — актеров, которые постоянно обманывают самих себя, пребывая в уверенности, что они решают и контролируют ход событий, в то время как в действительности ими движут лишь их интересы и страсти, а на еще более глубоком уровне — эффекты властных структур, в которые они вписаны, выполняя роль их агентов (*agents*). Толстой указывает на то, что в основе этих детерминаций лежит миметическое соперничество или «дуэль» между «людьми власти» (*hommes de pouvoir*), опосредованная восхищением подданных, которого они

жаждут и которым они облачены в силу того, что власть по природе харизматична. В этом вопросе интерпретация книги требует осторожности, так как описания в ней не похожи на циническую сатиру или моральный пессимизм материалистов эпохи Просвещения. С одной стороны, Толстой проводит содержательный анализ реальных социальных задач государственной политики, а также затрагивает актуальную на тот момент альтернативу «реформа/реакция» (роман Толстого совпал по времени с полемикой по поводу отмены крепостного права и выражает определенную точку зрения на природу той зависимости между дворянством и крестьянами, которая должна прийти ему на смену, чтобы можно было восстановить взаимовыгодный порядок). С другой стороны, анализ патриотических страстей и чувства личной самоотверженности или жертвенности, внушаемых самой личностью вождя подданным, образующим народ, и проявляющихся именно во время войны, не может сводиться к теории мистификации или добровольного порабощения. Здесь вновь необходимо принять во внимание асимметрию: с одной стороны, чувства тех, кто их испытывает, подлинны, но с другой — те, кто такие чувства внушает, намереваясь ими воспользоваться, занимают мистификацией.

Проблема в том, что понятия «власти», которое можно считать ключевым для мысли о политическом, начиная с греков и заканчивая современным противостоянием революционеров и контрреволюционеров, оказывается недостаточно для объяснения главной исторической загадки, а именно движения масс или, говоря точнее, того факта, что в один и тот же момент времени множество людей реагируют одинаковым образом, воспроизводя тем самым на практике эквивалент того, что Руссо называл «общей волей», которая, по его мнению, как раз и «делает из народа народ». В действительности понятие власти тавтологично¹⁹. Оно создает абстрактную проекцию «вечного круга» причин и следствий²⁰. Единственный способ разокнуть этот круг или выкарабкаться из этой тавтологии, если,

19. «Теория перенесения воли масс на исторические лица есть только перифраза — только выражение другими словами слов вопроса. Какая причина исторических событий? — Власть. Что есть власть? — Власть есть совокупность воли, перенесенных на одно лицо. При каких условиях переносятся воли масс на одно лицо? — При условиях выражения лицом воли всех людей. То есть власть есть власть. То есть власть есть слово, значение которого нам непонятно» (Толстой Л. Указ. соч. Т. 4. С. 314).

20. Там же. Т. 4. С. 322.

конечно, мы больше не хотим вмешательства трансцендентного (божественной воли или Провидения), заключается в выработке на основании анализа *эффектов власти* идеи *учреждающей силы*, которая заключается в бессознательном движении народа или, скорее, в дифференциальном *отношении* между массами и теми всегда условными эффектами направленности, которые становятся возможны за счет этого движения, хотя и кажется, что они им управляют. Прибегая к методам, под которыми формально мог бы подписаться марксист или же историк, проникнутый на манер Мишле народной мистикой, Толстой выводит «закон» (по существу негативный), в соответствии с которым участие индивидов и масс в учреждающей власти «отношении» и их представленность в нем *обратно* пропорциональны друг другу. Как мы увидим, этот закон тесно связан с представлением об исторических циклах, которым подчинена власть, но их принципом оказывается квазиприродный процесс последовательного чередования войны и мира — процесс, на самом деле не имеющий «субъекта».

Критика идеи *archè* приводит нас к феноменологии войны. Именно здесь Толстой радикализирует идею Клаузевица (о превосходстве оборонительной стратегии), отделяя ее от контекста, отсылающего к ее историческим корням, и доводя до предела. Как известно, в центре описания наполеоновского поражения на территории России оказывается фигура генерала Кутузова и его постоянный конфликт с военно-политическим истеблишментом, который был, однако, вынужден поверить в Кутузова в час крайней опасности. Кутузов, казавшийся бессильным и нерешительным (в чем его упрекали противники, не способные понять ни его мышления, которое, очевидно, не было дискурсивным, ни источников энергии Кутузова, которая заключалась вовсе не в его личности, но в контакте с народом, силу и слабость которого он видел), — единственный, кто увидел в *сопротивлении* не только «тактику», но и «стратегию», и, таким образом, единственный, кто смог психологически и материально *подготовиться* к долгосрочному сопротивлению через сбережение и концентрацию сил. Очевидно, такое понимание стратегического сопротивления повлияет на определение «политической цели войны», инструментальный характер которой будет поставлен им под вопрос: война не может выступать средством для осуществления какой угодно цели, ибо в тот момент, когда она перестает быть сопротивлением и должна стать контрнаступлением, а *потому и просто наступлением*, она должна прекратить-

ся или самоуничтожиться. Искусство Толстого, составляющее своего рода эквивалент того, что Клаузевиц назовет «трением» (или вымыслом трения), заключается всецело в *оттягивании момента этого обращения*, создавая, таким образом, запаздывание. Отталкиваясь от поражения или, скорее, не-победы Наполеона в Бородинском сражении (за которым последовал пожар в Москве, превративший оккупацию столицы, «места власти», в демонстрацию бессилия), движение масс обращается вспять на физическом уровне, и это означает, что французская армия перестала продвигаться и начала отступать, тогда как русская армия перестала отступать и начала нападение. Но стратегия Кутузова (который впоследствии должен будет устраниваться, так как он полностью отождествился с этой стратегией, став ее орудием) перестает быть «сопротивлением» или, в более общем смысле, «недеянием» (*non-action*) лишь в тот момент, когда она достигает границ, а точнее, крайней точки исторической территории русского народа. Здесь обнаруживается место для спора комментаторов о том, как Толстой применил описания самого Клаузевица и его интерпретацию новой исторической роли *герильи* («малой войны», изобретенной испанским народом в борьбе с Наполеоном), или же партизанской войны. Ее иллюстрацией служит — в эпизодах, придуманных Толстым или реальных, но переработанных для романа, — схождение действий «регулярных» и «нерегулярных» отрядов под командованием двух героев произведения: Денисова и Долохова. Акции герильи (идеализация которой не была характерна для Толстого, обратившего внимание на жестокость партизанских отрядов) в каком-то смысле конституируют тактическое наступление, подчиненное внутри более крупному плану по стратегической обороне. Как мы знаем, главная идея в том, что гений Кутузова состоял в постоянном укрощении желания его генералов разгромить французскую армию, что привело бы к исчерпанию их собственных ресурсов или даже поражению, ведь и силы русской армии были на пределе. В этой ситуации решающим фактором становится наличие *негативной цели*, доступной лишь через определенную форму бездействия или недеяния, а именно цели, состоящей в поддержании «устойчивости» армии или же ее сплоченности, опирающейся на единство «народа», эманацией которого эта сплоченность и выступает, в противоположность *разложению*, превращающему ее в «стадо». (Эта метафора стада, не раз использованная Толстым, сначала применяется к русской армии, потерпевшей поражение от французов в Смоленском сра-

жении. Второй раз — и в большем масштабе, который мы могли бы назвать «тотальным», — она применяется к французской армии и все большему ее разложению в результате поспешного бегства в условиях русской зимы, разложению, засвидетельствованному знаменитым эпизодом отступления Наполеона через Березину²¹.) (Пере)сложение через народное сопротивление или разложение при поражении — вот альтернатива, соответствующая двум историческим движениям масс, от которой зависит политический смысл, придаваемый военным операциям. В предельной форме идея оборонительного действия смыкается здесь с идеей «бездействия», или же, точнее, она обязывает опровергнуть представления, которые хочется назвать «западными», об эффективности, понимаемой как господство волящей субъективности над средствами и событиями — субъективности, которая определяет их в зависимости от собственных целей²².

Субъективность народа и встреча между его представителями

Невольно возникает желание возразить на это, что Толстой ни в коей мере не устраняет понятие политической субъективности, но лишь переносит его с глав или руководителей государства на общность народа, и делает он это сугубо демократическим или же, что тавтологично, «популистским» путем, тем

21. «В сущности своей процесс бегства и разложения французской армии со времени выступления из Москвы нисколько не изменился. <...> После Вязьмы войска французские вместо трех колонн сбились в одну кучу и так шли до конца. Бертье писал своему Государю (известно, как отдаленно от истины позволяют себе начальники описывать положение армии)» (Там же. С. 160–161).
22. Очевидно, что эта идея о «недеянии» является поводом провести связь с рядом философских тем, а точнее, с восточной мудростью и буддизмом в частности. Без сомнения, отсюда можно заключить, что в конечном счете историческое схождение происходит между тем, что мы назвали имполитикой Толстого, и антиимпериалистическими политиками, основанными на «ненасилии» (например, в мысли и произведениях Ганди). Но если мы ограничимся культурным контекстом, в котором сформировалось мышление Толстого, то наиболее интересным сопоставлением (которое я не в состоянии подтвердить документальными данными в этом контексте) мне кажутся «негативные» интерпретации теологии апостола Павла в том виде, в каком мы их, в частности, находим у Карла Барта, автора представления о *Nicht-Handeln* как изначальной или «керигматической» форме действия (ср.: *Esposito R. Nove pensieri sulla politica*. Bologna: Il Mulino, 1993. P. 148 ff).

самым превращая народ и его способность к историческому возрождению в ту последнюю инстанцию, что призвана все объяснить, следовательно, превращая его в учреждающую власть или *власть власти*. Было бы напрасно спорить с тем, что эта популистская жилка присутствует или даже упорствует в дискурсе Толстого, однако можно предположить, что она сама подчинена внутренней критической работе, осуществляемой через диалогизм, который избегает производства нового единогласия (*univocité*) «субъекта истории». То, что могло бы им показаться, — всего лишь квазисубъект. Именно в описании отношений между *народом* и *армией*, двух модальностей существования народа — в качестве массы индивидов и в качестве организованной институции, — этот вопрос становится как нельзя более острым. В повестку дня он попал благодаря «патриотическим» войнам периода Революции и Империи, когда сначала во Франции, потом в прусской Германии, а затем и во всей Европе народная оборона заставила заменить профессиональные армии, основанные на дисциплине, призывными армиями, опирающимися на «моральный фактор» и энтузиазм, внушаемый общей целью или фигурой командующего (либо и тем и другим)²³. Клаузевиц совершенно отчетливо увидел это революционное изменение и сделал из него отличительную черту, свидетельствующую о возникновении новой формы войны, уже «абсолютной», а не «относительной», в которой воюют именно народы, а не наемники. Подобная война конкретизирует возникшую далее гипотезу «устремления к крайности»²⁴, когда на кону стоит само существование народа (или же его государства), а вовсе не достижение того или иного конкурентного преимущества (территория, колонии, подати...). Но в то же время Клаузевиц оказался перед труднопреодолимой политической сложностью, из которой он попытался выйти, вообразив «слияние» старых институциональных форм войны с их новым социально-идеологическим содержанием (то есть соединение бюрократической власти государства и национализма масс), внятную формулировку какого-то слияния он так и не смог развить²⁵.

23. *Hippler T. Soldats et citoyens. Naissance du service militaire en France et en Prusse. P.: PUF, 2006.*

24. Речь идет о понятии Клаузевица, развитом в теории Рене Жирара, где *montée aux extrêmes* обозначает пиковый момент миметического конфликта. — *Прим. пер.*

25. Позднее, опираясь на эту апорию, теоретики народной войны, например Мао Цзэдун, будут считать, что решили проблему, сменив фигуру

У Толстого обнаруживается критическое ограничение этой проблемы: армия и народ составляют одно или, если угодно, формируют единую историческую индивидуальность только *в определенных условиях* — в обстоятельствах стратегической обороны, служащей негативной задаче освобождения родной земли; в иных условиях эта единая индивидуальность распадается в пользу одного из терминов, то есть уступает место миру или восстанавливает иерархический облик власти государства, господствующего над народом при помощи армии. Но у нас есть и «негативная» интерпретация вопроса, которая предполагает возможность выхода за его пределы, даже если из-за него придется поставить под вопрос привычные для политики понятия. Государство не в силах контролировать или «дисциплинировать» народ, принуждая его — пусть и не целиком, но лишь в возможности — вступить в армию или поступить на «военную службу». Но и не в силах народа — ни даже в его интересах — конституировать себя в качестве контрвласти, стихийно обзаводясь армией или же трансформируя самого себя в армию. Эта трансформация является лишь продуктом исключительных и преходящих обстоятельств.

И вновь наиболее значительным оказывается момент переходной или «дифференциальной» формы, которую воплощают кратковременные акции партизанских отрядов. Эта форма никогда не может тотализоваться, пускай она и выражает саму суть народного сопротивления и максимум его эффективности. В описании, которое Толстой дает этой форме, позволяющей ему настоять на парадоксальных добродетелях отсутствия субординации, координация действий партизан проистекает вовсе не из подчинения «цепочке командования», но из вездесущности *идеи*, которая пришла «снизу» (идеи освобождения), и из благоприятных обстоятельств, определяющихся случайностью или удачей. Здесь еще очень далеко до того, чем у Мао и Че Гевары, выросших на ленинистских представлениях об организации, станет в ходе народной войны партийная дисциплина. Толстой верит в горизонтальную координацию, но также не скрывает, что на нее отчасти влияют «личные» интересы: от эгоизма до жажды наживы. Народ конституируется в движении, которое поддерживают великие бессознательные исторические силы, и в таком качестве

государства или армии как государственного аппарата на революционную партию, которая возложит бремя организации на сами массы или их «авангард».

он является выражением «движения масс», тогда как на уровне индивида он всегда близок к разобщению и даже превращению в свою противоположность. В его существовании, которое метафизически необходимо для самого бытия истории, неизбежно есть что-то от чуда.

В разносторонней феноменологии войны, трактуемой как индивидуальное и коллективное испытание, которую Толстой излагает в «Войне и мире», можно увидеть крайне парадоксальную и саму по себе невероятную философию единства противоположностей. Мы можем охарактеризовать эту философию как мистику имманентности или даже материалистическую мистику (если материализм состоит в том, чтобы сделать двигателем истории процесс сложения и разложения масс). Толстой не только пошел на эту крайность, но и дал ей аллегорическую репрезентацию в центральном эпизоде (часто считающемся одним из ключевых в понимании романа), что позволило в то же время дистанцироваться от этой крайности (или дало нам, читателям, возможность остранения). Речь идет об эпизоде встречи Пьера Безухова и крестьянина — «простого», но «вдохновенного» народной мудростью — Платона Каратаева. Если мы полагаем, что Пьер (вместе со своим другом, князем Андреем, которому было предназначено умереть) является главным героем романа, с которым автор не раз идентифицируется, тогда можно сказать, что альтернатива войны и мира разыгрывается в трех положительных «парах», спонтанно образующихся в романе (в противоположность опыту негативной пары, образованной с его первой супругой — графиней Элен): пара войны (или братства в войне и политике), которую он образует с князем Андреем; пара мира и любви в браке, которую он образует с Наташей (бывшей невестой князя), а между ними — «случайная», но именно поэтому важная — пара, которую он образует с Платоном²⁶.

26. Весь роман явным образом структурируется образованием пар, а точнее, проверкой их совместимости и несовместимости. Эти пары состояются из определенных социальных и психологических категорий: «родные» или «названные» братья и сестры (Андрей и Марья, Марья и Наташа), «несчастливая любовь» (например, Пьер и Элен, Анатолий и Наташа или даже Андрей и Лиза), «невозможная любовь» (Николай и Соня, Андрей и Наташа, Марья и Анатолий), любовь по соглашению или обычаю (Борис и Вера), идеальные браки (Николай и Марья и даже старички Ростовы) и т. д. Эти пары иллюстрируют властные отношения или определенные следствия исторической ситуации: Александр и Наполеон являются «парой», в то время как с другой стороны пару составля-

Было бы неправдой утверждать, что в этой паре присутствует только моральное или даже религиозное, но не политическое значение. Напротив, она выявляет определенную истину политики, которая, когда институциональные связи исчезли, в каком-то смысле оказывается по ту сторону политики или же на ее крайних пределах. Пьер встречает Платона и становится будто бы его братом на пороге смерти, в условиях лишений и крайней жестокости, которой подвергались русские в колонне пленных, влекомых за собой разгромленными французами. Стадо внутри стада. Французы, не имевшие иной власти, нежели той, что позволяла им угнетать нескольких попавших к ним пленных, уже побеждены армией и русским народом. Измученного и не способного двигаться дальше Платона убивают после того, как он в акте христианской любви к ближнему («возлюбите врагов своих») сшил рубашку одному из своих стражников. Если что-то и важно в этой встрече, так это тот факт, что она сводит вместе представителей двух крайних полюсов общества: не просто очень богатого человека с очень бедным человеком, но, главное, *интеллектуала* (которым, собственно, являлся Пьер на протяжении всего романа) и *простака*. Речь идет о различии, которое оказывается неустрашимым даже в ситуации крайнего лишения, когда больше нет ни бедных, ни богатых, потому что страдание уравнивает всех (подобный тип анализа мы найдем и в описаниях лагерей XX века).

Таким образом, можно подумать, что в этом контексте Толстой возвращается к идее о национальном единстве народа, о единстве сплоченного патриотизмом «целостного народа», который поднимается в условиях войны или чрезвычайного положения, невзирая на классовые конфликты и частные интересы. Тем не менее речь об ином. Прежде всего подразумевается не столько нейтрализация классовых различий, сколько попро-

ют Андрей и Кутузов, Пьер и Сперанский или Долохов и Долгоруков. Они входят в систему оппозиций, которую можно выстроить, поочередно рассмотрев, как соединяются и разлучаются важные персонажи, например Наташа с Андреем, Анатолем и Пьером; Андрей со своим отцом, Лизой, Наташей, Пьером и министром... В конечном счете пара Пьера и Платона в некотором смысле противопоставляется всем прочим, но не только тем, в которые входят протагонисты на протяжении всей истории (в особенности это относится к Пьеру), но и тем, что отсылают к «архонтам», к которым эта пара не имеет никакого отношения (Наполеон и Александр или Александр и Сперанский). Эта пара существует в ином времени, которое столь мимолетно, что след от него практически незаметен.

сту *исчезновение* их значимости. Пьер и Платон суть одно в своем страдании и своей доброте, в своей человечности. Но этот опыт является столь же хрупким, сколь мимолетным: этот опыт, спровоцированный войной, словно чудо гармонии в момент мучительного ожидания между поражением и победой, обороной и контрнаступлением, жизнью и смертью, и предназначенный двум индивидам, маргинализированным ходом истории, оформляет и символизирует ту живую стихию, которая учреждает общность народа вне частных интересов, но он не предъявляет никакой устойчивой субстанции, поддерживающей этот народ, и тем более не делает возможным образование какой-либо институции. Таким образом, опыт этот выражает амбивалентность того отношения, которое война поддерживает с политикой, отношения одновременно конструктивного и деконструктивного. «Вдвоем» в своем *Zweisamkeit* Пьер и Платон являют сущность народа, но они смогли образовать бы эту «двоицу» (или же единство в двоих) только в мессианском «просвете» трагедии в ее самый мрачный момент.

Библиография

- Берлин И. Еж и лиса // Он же. История свободы. Россия. М.: НЛЮ, 2001. С. 183–268.
- Де Местр Ж. Санкт-Петербургские вечера. СПб.: Алетейя, 1998.
- Толстой Л. Война и мир. Т. 3 // Полн. собр. соч. М.: Художественная литература, 1940. Т. 11.
- Энгельс Ф. Бородино // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1959. Т. 14. С. 256–261.
- Aron R. Penser la guerre, Clausewitz, I: L'âge européen. P.: Gallimard, 1976.
- Balibar É. Les hommes, les armées, les peuples: Tolstoï et le sujet de la guerre // Idem. Citoyen sujet et autres essais d'anthropologie philosophique. P.: PUF, 2011. P. 295–314.
- Balibar É. Sur Guerre et Paix de Tolstoï. Un essai de "philosophie littéraire" // War and Peace: The Role of Science and Art / S. Nour, O. Remaud (eds). B.: Duncker & Humblot, 2010.
- Bencivenga E. The Causes of War and Peace // Philosophy and Literature. 2006. Vol. 30. № 2. P. 484–495.
- Dalgarno E. A British "War and Peace"? Virginia Woolf Reads Tolstoy // Modern Fiction Studies. 2004. Vol. 50. № 1. P. 129–150.
- Esposito R. Nove pensieri sulla politica. Bologna: Il Mulino, 1993.
- Gallie W.B. Philosophers of War. Kant, Clausewitz, Marx, Engels, and Tolstoy. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- Hippler T. Soldats et citoyens. Naissance du service militaire en France et en Prusse. P.: PUF, 2006.
- Lefort C. Le Travail de l'œuvre Machiavel. P.: Gallimard, 1972.
- Macherey P. À quoi pense la littérature? P.: PUF, 1990.

- Macherey P. Y a-t-il une philosophie littéraire? // Bulletin de la Société Française de Philosophie. 2004. Vol. 98. № 3.
- Morson G. S. Hidden in Plain View. Narrative and Creative Potentials in “War and Peace”. Stanford, CA: Stanford University Press, 1987.
- Revel J. Une date, un siècle. Communication au colloque “Quelle Europe annonce la bataille d’Austerlitz?” Prague, November 28–29, 2005 // Centre français de recherche en sciences sociales. URL: <http://cefres.cz/pdf/revel.pdf>.
- Terray E. Clausewitz. P.: Fayard, 1999.

PEOPLE, ARMIES, PEOPLES: TOLSTOY AND THE SUBJECT OF WAR

ÉTIENNE BALIBAR. Professor Emeritus of Moral and Political Philosophy, Department of Philosophy, UFR Phillia; Professor of French and Comparative Literature, Department of French, eb2333@columbia.edu.

Université Paris Nanterre, 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex, France.

Columbia University in the City of New York, 522 Philosophy Hall, 1150 Amsterdam Ave., NY 10027-6900 New York, USA.

Keywords: war; political action; people; Leo Tolstoy; Carl Clausewitz; driving forces of history; subject; theoretical anarchism; general will; inaction.

The article is devoted to the politics of war as described by Leo Tolstoy in *War and Peace*. Tolstoy overturns Carl Clausewitz' interpretation of war as a "continuation of politics," paradoxically generalizing and radicalizing one of his theses: the provisions on the "superiority of a defensive strategy" over an offensive strategy. As Tolstoy understands it, defensive strategy is transformed into a negative one that questions the understanding of power and its origin (*arche*), both in terms of attitude toward the commanding authority and in terms of the impact of individual will on the course of history. Through reflection on the significance of partisan warfare as a privileged form of people's warfare, this leads to a negative rethinking of the idea of how the "people" and "army" are conjoined.

In the final analysis, the "people," acting as a fundamental historical force that manifests itself in a war for liberation or a struggle for the common good loses its metaphysical characteristics as a subject. However, its communal essence and the truth about politics beyond politics, or at its extreme boundaries where institutional ties disappear, comes to the surface symbolically in the providential meeting between Pierre Bezukhov and Platon Karataev. But this fragile experience forms and symbolizes the vital element that establishes the community of the people apart from any private interests and institutions.

DOI: 10.22394/0869-5377-2021-3-71-94

References

- Aron R. *Penser la guerre, Clausewitz, I: L'âge européen*, Paris, Gallimard, 1976.
- Balibar É. Les hommes, les armées, les peuples: Tolstoï et le sujet de la guerre. *Citoyen sujet et autres essais d'anthropologie philosophique*, Paris, PUF, 2011, pp. 295–314.
- Balibar É. Sur Guerre et Paix de Tolstoï. Un essai de "philosophie littéraire". *War and Peace: The Role of Science and Art* (eds S. Nour, O. Remaud), Berlin, Duncker & Humblot, 2010.
- Bencivenga E. The Causes of War and Peace. *Philosophy and Literature*, 2006, vol. 30, no. 2, pp. 484–495.
- Berlin I. Ezh i lisa [The Hedgehog and the Fox]. *Istoriia svobody. Rossiia* [History of Freedom. Russia], Moscow, New Literary Observer, 2001, pp. 183–268.
- Dalgarno E. A British "War and Peace"? Virginia Woolf Reads Tolstoy. *Modern Fiction Studies*, 2004, vol. 50, no. 1, pp. 129–150.
- De Maistre J. *Sankt-Peterburgskie vechera* [Les Soirées de Saint-Petersbourg], Saint Petersburg, Aleteiia, 1998.
- Engels F. Borodino. In: Marx K., Engels F. *Soch.* [Soch], 2nd ed., Moscow, Gospolitizdat, 1959, vol. 14, pp. 256–261.

- Esposito R. *Nove pensieri sulla politica*, Bologna, Il Mulino, 1993.
- Gallie W.B. *Philosophers of War. Kant, Clausewitz, Marx, Engels, and Tolstoy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1978.
- Hippler T. *Soldats et citoyens. Naissance du service militaire en France et en Prusse*, Paris, PUF, 2006.
- Lefort C. *Le Travail de l'œuvre Machiavel*, Paris, Gallimard, 1972.
- Macherey P. *À quoi pense la littérature?*, Paris, PUF, 1990.
- Macherey P. Y a-t-il une philosophie littéraire? *Bulletin de la Société Française de Philosophie*, 2004, vol. 98, no. 3.
- Morson G.S. *Hidden in Plain View. Narrative and Creative Potentials in "War and Peace"*, Stanford, CA, Stanford University Press, 1987.
- Revel J. Une date, un siècle. Communication au colloque "Quelle Europe annonce la bataille d'Austerlitz?" Prague, November 28–29, 2005. *Centre français de recherche en sciences sociales*. Available at: <http://cefres.cz/pdf/revel.pdf>.
- Terray E. *Clausewitz*, Paris, Fayard, 1999.
- Tolstoy L. *Voïna i mir*. T. 3 [War and Peace. Vol. 3]. *Poln. sobr. soch.* [Complete Works], Moscow, Art Literature, 1940, vol. 11.